

# Дмитрий Павлович 12+ Цветков



Андрей Традерсон

Андрей Трейдерсон

**Дмитрий Павлович Цветков.  
Памяти водского лингвиста**

«Издательские решения»

## **Трейдерсон А.**

Дмитрий Павлович Цветков. Памяти водского лингвиста /  
А. Трейдерсон — «Издательские решения»,

«Дмитрий Павлович Цветков» — это исследовательская книга, посвящённая автору водской грамматики, собирателю водского языка, выдающемуся лингвисту и хранителю культуры води- коренного народа Ленинградской области. Автор книги собрал и систематизировал все известные материалы о жизни, научных трудах и наследии Цветкова. Издание восстанавливает почти забытые страницы истории водского народа, язык которого сегодня находится на грани исчезновения.



## Содержание

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Дмитрий Павлович Цветков                           | 6  |
| Предисловие                                        | 7  |
| Задача и миссия                                    | 8  |
| Хрупкое наследие                                   | 9  |
| Структура повествования                            | 10 |
| Источники и основа                                 | 11 |
| Почему сейчас? Актуальность памяти                 | 12 |
| Анатомия наследия: Грамматика, словарь, этнография | 14 |
| Долгий путь к признанию                            | 15 |
| Социальная структура и идентичность                | 18 |
| Краколье: Родина водского лингвиста                | 19 |
| Семья и община: Кузница идентичности               | 21 |
| Дух времени в водской деревне                      | 22 |
| Социальная ткань и внешние влияния                 | 23 |
| Бытовые детали и мир детства                       | 24 |
| Тень исчезновения: Демография и идентичность       | 25 |
| Наставники и формирование педагогического идеала   | 28 |
| Подготовка к следующему шагу: Петербург и война    | 33 |
| Политическая анафема: Цена выбора                  | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                  | 38 |

# **Дмитрий Павлович Цветков**

## **Памяти водского лингвиста**

**Андрей Трейдерсон**

© Андрей Трейдерсон, 2026

ISBN 978-5-0070-7609-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Дмитрий Павлович Цветков

«Дмитрий Павлович Цветков» — это исследовательская книга, посвящённая Дмитрию Павловичу Цветкову — автору водской грамматики, собирателю водского языка, выдающемуся лингвисту и хранителю культуры води коренного народа Ленинградской области.

Автор книги, являясь этническим вождином с благодарностью и почитанием к единородцу, собрал и систематизировал все известные материалы о жизни, научных трудах и наследии Цветкова. Издание восстанавливает почти забытые страницы истории водского народа, язык которого сегодня находится на грани исчезновения.

Книга будет интересна историкам, лингвистам, краоведам, всем, кто изучает финно-угорские народы и культурное наследие Ленинградской области. Это не просто биография учёного, это памятник человеку, который до последних дней работал над сохранением языка своих предков.

©2026 Андрей Традерсон

Эта биографическая книга освещает жизнь и наследие Дмитрия Павловича Цветкова — лингвиста, педагога и вождина, чья работа по документированию и сохранению водского языка, включая создание первой грамматики кракольского диалекта, остаётся бесценной для финно-угроведения. Основываясь на исследовании Энна Эрнита и других источниках, книга описывает жизнь водского народа в его эпоху, анализирует его труды. Книга является вкладом в историю лингвистики и сохранение памяти о Дмитрии Цветкове.

## Предисловие

Весной 1922 года в деревне Венкуля молодой учитель Дмитрий Цветков аккуратно переписывал последние страницы рукописи, над которой работал в свободные от уроков часы. На обложке он вывел: «Грамматика водского языка». В предисловии, обращаясь к будущим читателям, он со смирением отмечал, что его труд «не претендует на строгую научность, в нём много недочётов

и неразгаданного“. Но в этих же строках теплилась надежда: он верил, что когда-нибудь его работа „окажет хоть небольшую услугу в деле изучения и широкого освещения вопросов о народностях угро-финской группы». Прошло 85 лет, прежде чем его скромная рукопись превратилась в изящно изданную книгу, и ещё почти столетие — чтобы имя её автора было официально признано национальным героем его народа. Эта книга — попытка вернуть из забвения голос человека, чья жизнь стала мостом между исчезающим миром и будущим, в котором память о языке всё ещё имеет значение.

## Задача и миссия

Главная задача этой работы — не просто пересказать биографические вехи. Её миссия — восстановить историческую и научную память о Дмитрие Павловиче Цветкове (1890—1930) как о цельной, сложной и трагической фигуре. Он был вожанином, педагогом и лингвистом-самоучкой в то время, когда само понятие «водская филология» ещё не существовало. Его наследие долгие десятилетия оставалось разрозненным: рукописи

в архивах, краткие некрологи в газетах, редкие упоминания

в специализированных трудах. Полноценного жизнеописания на русском языке до сих пор не было. Эта биографическая книга призвана заполнить эту лакуну, собрав воедино разрозненные свидетельства и представив Цветкова не как второстепенную сноску в истории лингвистики, а как ключевую фигуру в борьбе за сохранение водской идентичности.

Наша цель трёхмерна: детально реконструировать его жизненный путь, проанализировать его лингвистические и этнографические труды, и, наконец, оценить их непреходящую ценность для современного финно-угроведения и движения за сохранение исчезающих языков. Особая важность этого проекта подчёркивается символическим актом, случившимся уже в наше время: в 2025 году Дмитрий Павлович Цветков был посмертно удостоен памятной медали «Водский Крест» (Vadda Rissi) за выдающийся вклад в сохранение водского языка. Эта награда — не просто запоздалая дань уважения, а яркое свидетельство того, что его труды, совершённые в тишине кабинетов и сельских школ, сегодня обретают новое, жизненно важное звучание.



## Хрупкое наследие

Чтобы понять масштаб подвига Цветкова, необходимо осознать контекст, в котором он работал. Водский язык, один из прибалтийско-финских языков, уже к началу XX века находился в состоянии глубокого кризиса. Носители, компактно проживавшие в западной части Ленинградской области (историческая Водская пятина-Ингерманландия, земли к юго-западу от Санкт-Петербурга), подвергались интенсивной ассимиляции. Социальные потрясения, войны, миграции и давление доминирующих культур — всё это вело к стремительной эрозии языковой среды.

*Когда исчезает язык, исчезает не просто набор слов и грамматических правил. Исчезает уникальная картина мира, система метафор, связывающих человека с природой, память о поколениях, закодированная в пословицах и песнях. Сохранить язык — значит сохранить возможность услышать голоса предков и дать будущим поколениям инструмент для самоосознания.*

В этой ситуации работа Цветкова по документированию родного кракольского диалекта была актом интеллектуального сопротивления забвению. Он понимал, что время уходит, и стремился зафиксировать живое звучание, грамматическую структуру и лексическое богатство языка, пока он ещё звучал в быту его родной деревни. Его труды — это не сухие академические описания, а, по сути, «капсула времени», спасательная шлюпка, отправленная в будущее с бесценным грузом.

## Структура повествования

Эта книга построена по принципу движения от внешнего контекста к внутреннему миру героя и далее — к оценке его вклада. Начальные главы погружают читателя в мир водской деревни Краколье конца XIX века, рисуя этнографический портрет среды, сформировавшей будущего лингвиста. Мы проследим его путь от ученика Гатчинской семинарии до учителя в карельской глуши, а затем через горнило Первой мировой и Гражданской войн — в эмиграцию в Эстонию.

Центральная часть книги посвящена скрупулёзному анализу его научного наследия:

— Грамматика кракольского диалекта (1922):

— Мы рассмотрим эту рукопись не только как лингвистический памятник, но и как интеллектуальный проект. Проанализируем созданную Цветковым оригинальную орфографическую систему на основе кириллицы, его подходы к описанию фонологии и морфологии, сильные стороны работы и те неизбежные пробелы, которые отмечают современные специалисты.

— «Каталог водского языка» (незавершённый словарь):

— Этот основной труд его жизни, опубликованный лишь

— в 1995 году в Финляндии, станет предметом отдельного глубокого разбора. Мы исследуем его лексикографические принципы и уникальность как источника по идиолекту носителя.

— Этнографические и публицистические работы:

— Статья «Водский народ» (1925), посмертно опубликованные обзоры на водском языке и материалы по обрядам жизненного цикла покажут Цветкова как вдумчивого наблюдателя и хрониста исчезающей культуры.

Отдельные главы будут посвящены его трагическому финалу, долгому пути рукописей к публикации и, наконец, современной рецепции его наследия в научном мире.

## Источники и основа

Фундаментом для данного исследования послужила монография эстонского учёного Энна Эрнитса «Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov» (2009) — на сегодняшний день наиболее полное и детальное жизнеописание Цветкова. Работа Эрнитса, основанная на тщательной работе с архивами и лингвистическим материалом, позволила впервые увидеть биографию учёного в её полноте и сложности. Мы будем активно опираться на его выводы, дополняя их анализом самих текстов Цветкова, историческим контекстом и данными из смежных областей.

Важным источником является и само издание грамматики Цветкова, осуществлённое в 2008 году в Таллинне под редакцией известного водолога Юри Вийкберга. Предисловие, комментарии и составленные указатели в этой публикации представляют собой не только дань уважения автору, но и важный научный аппарат, без которого современному читателю было бы трудно оценить масштаб проделанной работы. Упоминания трудов Цветкова в работах классиков финно-угроведения, таких как академик Пауль Аристе, также служат весомым свидетельством их научной ценности.

Для кого эта книга?

Эта работа адресована широкому, но заинтересованному кругу читателей:

— Студентам и учёным в области финно-угроведения, лингвистики и этнографии, для которых Цветков станет примером «полевого исследователя» изнутри языковой среды.

— Исследователям и активистам, занимающимся документацией и ревитализацией исчезающих языков, которые найдут здесь исторический прецедент и источник вдохновения.

— Историкам, краоведам, изучающим сложные этнокультурные процессы в Балтийском регионе и Ленинградской области в частности.

— Всем, кому небезразлична судьба языкового разнообразия человечества и кто верит, что память, запечатлённая в слове, способна противостоять забвению.

## Почему сейчас? Актуальность памяти

В мире, где каждый месяц исчезают десятки языков, труд таких людей, как Дмитрий Цветков, перестаёт быть достоянием узкого круга специалистов. Он становится уроком гражданской и научной ответственности. Его история — это история о том, как личная судьба переплетается с судьбой целого народа, как любовь к родному слову может стать делом всей жизни, а скромная рукопись — мостом через столетие.

Эта книга — не просто биография. Это памятник. Памятник учёному, чья работа долгое время оставалась в тени. Памятник языку, который он стремился спасти. И, наконец, памятник той упрямой человеческой вере, что даже самый тихий голос, запечатлённый на бумаге, имеет шанс быть услышанным в будущем.

### Введение: Исчезающий голос Водской земли

У языков, как и у людей, есть своя судьба — полная величия или забвения, внезапного расцвета или медленного угасания. Одни с триумфом шествуют по миру, становясь языками науки, поэзии и дипломатии. Другие, столетиями жившие на своей земле, внезапно замирают, словно от первого осеннего заморозка, и начинают тихо исчезать, унося с собой целые миры — системы мышления, фольклор, накопленную мудрость поколений. Водский язык, финно-угорское наречие коренного народа Ингерманландии, к началу

XX века оказался именно в таком положении: язык-агонист, язык-призрак, чьё дыхание уже было почти неслышно на фоне грохота истории и давления доминирующих культур.

Эта книга — не только биография человека. Это история голоса, который пытался заговорить в последний момент, прежде чем наступила тишина. Дмитрий Павлович Цветков (1890—1930) — вожанин, педагог, лингвист-самоучка — посвятил свою короткую жизнь попытке остановить неумолимое. Его главный труд, «Грамматика водского языка», созданная в 1922 году, почти столетие пролежал в рукописи, прежде чем обрести форму книги. Он так и не стал при жизни признанным «вотологом» — специалистом по водскому языку. Он выбрал иную стезю, но его наследие, подобно капсуле времени, сохранило для нас звучание, грамматику и дух кракольского диалекта в момент, когда его носители ещё пели свои песни и рассказывали сказки.

Цель этого исследования — вывести фигуру Дмитрия Цветкова из тени кратких некрологов и сноски в академических трудах. На основе фундаментальной работы эстонского исследователя Энна Эрнитса «*Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov*» (2009) и других источников мы восстановим контекст его жизни, детально проанализируем его лингвистические и этнографические труды и оценим их непреходящее значение. Эта книга — акт исторической справедливости, призванный вернуть должное место в пантеоне финно-угроведения человеку, чья скромная грамматика, по его собственным словам, была написана в надежде, что она «когда-нибудь окажет хоть небольшую услугу в деле изучения и широкого освещения вопросов о народностях угро-финской группы».

Критическое состояние:

Водский язык на грани исчезновения

В начале XX века водский язык, несмотря на свою древность и уникальность, был обречён в глазах большинства современников.

По данным переписи 1897 года, водью — небольшим финно-угорским народом — считали себя чуть более 5000 человек, проживавших компактно в западной части Санкт-Петербурга.

бургской губернии, в основном в Ямбургском уезде. Их деревни, такие как Краколье (водск. *Jõgõperä*), были островками в славянском море, испытывавшими мощное давление со стороны русского языка, который был языком администрации, школы, церкви и растущих городов.

Процесс языкового сдвига шёл стремительно. Водский язык был преимущественно устным, бытовым, домашним. На нём говорили в поле и у печи, но для карьеры, образования и даже для многих религиозных обрядов требовался русский. Смешанные браки, мобильность населения, политика русификации — всё это вело к тому, что молодое поколение зачастую считало родной язык «непрестижным», «деревенским», помехой для будущего. Язык терял свои функциональные сферы одну за другой, сжимаясь до узкого круга внутрисемейного общения стариков.

*Язык умирает не тогда, когда умолкает его последний носитель. Он умирает гораздо раньше — когда перестаёт рождаться новая литература, когда на нём не поют новых песен, когда матери перестают рассказывать на нём сказки своим детям. К началу*

*XX века водский язык находился именно в этой стадии молчаливого отступления.*

Для мировой лингвистики это означало неминуемую утрату. Каждый исчезающий язык — это уникальная модель восприятия мира, невозполнимая система знаний о местной экосистеме, философии и социальных отношениях. Потеря водского языка была бы потерей целого пласта прибалтийско-финской языковой истории, ключа к пониманию древних миграций и культурных взаимодействий в регионе Балтийского моря.

Дмитрий Цветков: Между двумя мирами

В этой атмосфере языковой агонии и родился Дмитрий Павлович Цветков. Его личность сформировалась на стыке двух миров: традиционного водского, с его укладом, песнями и говором Краколья, и мира русской интеллигенции, открывшего ему двери Гатчинской педагогической семинарии и Петербургского института. Эта двойственность определила всю его судьбу.

С одной стороны, он был носителем, плотью от плоти того самого исчезающего языка. Он не изучал его со стороны, как приезжий финский или эстонский учёный. Он чувствовал его изнутри, его фонетику, интонации, скрытую логику падежей и глагольных форм. С другой стороны, полученное им русское образование дало ему инструменты для анализа, систематизации, описания. Он стал уникальным явлением — автоэтнографом и автолингвистом, человеком, который попытался применить научный метод (пусть и дилетантский по меркам академической лингвистики того времени) к своему собственному материнскому наречию.

Его биография — это биография человека, разорванного историческими катаклизмами. Участник Первой мировой войны

на Буковинском фронте, боец Ингерманландского полка в Гражданской войне, он навсегда потерял возможность вернуться

в родные края. Его путь лежал в Эстонию, где он стал студентом Тартуского университета. Ирония судьбы заключалась в том, что, получив предложение от знаменитого лингвиста Лаури Кеттунена стать первым в мире профессиональным «вотологом», Цветков выбрал славянскую филологию и защитил магистерскую диссертацию о взглядах Льва Толстого. Его главный лингвистический труд так и остался на периферии его официальной академической карьеры, личным, почти интимным делом.

## Анатомия наследия: Грамматика, словарь, этнография

Научное наследие Цветкова, хотя и невелико по объёму, представляет собой драгоценный триптих, запечатлевший состояние водского языка и культуры в 1920-е годы.

**1. Грамматика кракопольского диалекта (1922).** Это сердце его лингвистического подвига. Рукопись, созданная в деревне Венкуля, где он работал учителем, — первое систематическое описание фонологии и морфологии конкретного водского говора. Цветков создал оригинальную практическую орфографию на основе кириллицы, вводя диакритические знаки (две точки над буквой) для обозначения специфических звуков *ä, ö, ü*. Его описание, конечно, безупречно. Современные лингвисты, такие как Энн Эрнитс, справедливо отмечают отсутствие анализа гармонии гласных, поверхностное описание глагольной системы, спорную классификацию падежей, на которую повлияли грамматики церковнославянского языка. Но ценность работы — не в безукоризненной теории, а в бесценном сыром материале: сотнях точно записанных словоформ, примеров, парадигм, которые доносят до нас живую речь. Сам Цветков смиренно признавал: «моя грамматика водского языка не претендует на строгую научность, в ней много недостатков и неразгаданного».

**2. Каталог (словарь) кракопольского говора.** Этот незавершённый лексикографический труд — ещё одна часть мозаики. Он оставался в рукописи и был опубликован лишь в 1995 году в Финляндии. Словарь фиксирует идиолект конкретной деревни, включая тонкости словообразования и использование посессивных суффиксов. Он бесценен для реконструкции лексического фонда языка и изучения языковых контактов.

**3. Этнографические и публицистические работы.** При жизни Цветков успел опубликовать лишь краткий обзор «Водский народ» на эстонском языке (1925). После его трагической гибели увидели свет полный текст этого обзора на водском (1931) и глубокая статья о традиционных обрядах жизненного цикла: рождении, свадьбе, похоронах (1931—1932). Эти труды — мост от языка к культуре, показывающий, как грамматические формы оживают в ритуале, а слова наполняются сакральным смыслом.

## Долгий путь к признанию

Судьба архива Цветкова символизирует судьбу самого языка: долгое забвение и трудное, запоздалое воскрешение. Его грамматика пролежала неопубликованной 85 лет. Лишь в 2008 году благодаря титаническим усилиям эстонских энтузиастов, в первую очередь редактора Юри Вийкберга и переводчика Ады Амбус, при финансовой поддержке шведского инженера и друга водского народа КальвоКюэрика, рукопись превратилась в прекрасно изданную книгу на двух языках — русском и эстонском. Это издание сделало труд Цветкова доступным широкому кругу исследователей.

Научное сообщество постепенно оценило значение его работ. Материалами Цветкова активно пользовался классик вотологии Пауль Аристе. Его примеры кочуют из статьи в статью, из монографии в монографию. Он перестал быть безымянным информантом, а стал признанным автором, чей вклад был сделан «с изнанки» языка, из его глубины.

Апофеозом посмертного признания стало событие 2025 года, когда Дмитрий Павлович Цветков был удостоен мемориальной медали «Водский Крест» (*Vadda Rissi*) за неоценимый вклад

в сохранение языка. Эта награда — больше, чем дань уважения. Это символ полного цикла: язык, который он спасал, официально благодарит своего спасителя, пусть и спустя столетие. Это

акт соединения разорванной нити памяти, возвращение национального героя своему народу.

Настоящая книга выстроена как движение от общего к частному и обратно к общему. Мы начнём с погружения в мир, который породил Дмитрия Цветкова, — водскую деревню Краколье на рубеже эпох. Затем проследим его личный путь: детство, учёбу, военные испытания, педагогические искания и, наконец, сосредоточенную лингвистическую работу в эстонский период его жизни. Центральные главы будут посвящены скрупулёзному анализу его грамматики, словаря и этнографических заметок, оценке их достоинств и недостатков глазами современной науки.

Мы рассмотрим трагические обстоятельства его раннего ухода и долгий путь его рукописей к читателю. Отдельно будет проанализирована роль исследований ЭннаЭрнитса и других учёных в возвращении имени Цветкова в научный оборот. Книга завершится осмыслением его места в истории финно-угроведения и значением посмертного награждения «Водским Крестом», которое ставит точку в истории забвения и открывает новую страницу — страницу памяти и признания.

В эпоху глобализации, когда исчезновение языков идёт беспрецедентными темпами, история Дмитрия Цветкова обретает особую остроту. Она — не о прошлом, а о настоящем и будущем. Она демонстрирует, что спасение языка часто начинается не с грандиозных государственных программ, а с тихого, упорного труда одного преданного человека, часто на обочине большой науки.

Его биография — урок смирения и упорства. Он не имел громких титулов, его методы были наивны, его жизнь оборвалась трагично и рано. Но сделанное им оказалось прочнее забвения. Его грамматика — это маяк для всех, кто сегодня работает с языками, находящимися на грани исчезновения. Она напоминает, что первая, пусть и несовершенная, фиксация, сделанная носителем, порой ценнее позднейших идеальных моделей, построенных посторонними исследователями.

Дмитрий Цветков сохранил не просто слова и правила. Он сохранил возможность диалога с ушедшим миром. Благодаря ему водское слово *lauloma* («петь») не просто зафиксировано в парадигме спряжения — оно сохранило отзвук той песни, которую, возможно, пела его



мать в кракольском доме. В этом — высший смысл его подвига и главная причина, по которого его жизнь и труд заслуживают самой подробной и вдумчивой памяти.

### **Краколье: Мир водской деревни в конце XIX века**

На рубеже XIX и XX веков для внешнего наблюдателя водские деревни на западе Санкт-Петербургской губернии могли казаться всего лишь глухими окраинами империи, медленно растворяющимися в русской среде. Картографы и статистики, такие как Пётр Кёппен, уже фиксировали стремительное сокращение численности этого маленького финно-угорского народа. Казалось, всё шло к неизбежному и тихому финалу — забвению. Но именно в этот момент, в 1890 году, в одной из таких деревень родился человек, который станет не свидетелем конца, а его упрямым и трагическим летописцем. Мир водского Краколя не угас — он был запечатлён в уникальной детализации, на страницах рукописей, которым суждено было пролежать в архивах большую часть столетия.

Чтобы понять масштаб задачи, которую бессознательно принял на себя Дмитрий Цветков, и глубину его мотивации, необходимо остановиться на пороге его родного дома и взглянуть в тот мир, который сформировал его слух, его речь и его душу.

#### **География и пространство: Jõgõregä — «Приречье»**

Деревня Краколье, или, на водском языке, Jõgõregä — «Приречье», «Конец реки», располагалась в Ямбургском уезде,

на самой границе миров. Это была не просто точка на карте,

а целая вселенная, организованная по своим внутренним законам. Деревня стояла на реке Луге, но её жизнь определялась не только большой рекой, но и сетью мелких ручьёв, болот, лесов и полей. Каждое из этих мест имело своё название на водском языке — топонимическую карту, несущую в себе память о поколениях,

об охоте, о границах наделов, о событиях, стёршихся из человеческой памяти, но сохранных в языке.

Дома в Краколье, как и в других водских деревнях, ставились не вдоль единственной улицы, как часто бывало у русских, а образовывали кустовую, «гнездовую» планировку — несколько хозяйств, связанных родством, группировались вокруг общего двора. Такая планировка отражала социальную структуру: крепкие родственные кланы, большую семью-«перя». Дом (*talo*) был не просто постройкой, а микрокосмом, с чётким разделением на мужскую и женскую половины, с особым почтением к печи и порогу.

*Ландшафт был первым и главным учебником будущего лингвиста. Названия урочищ — Mäkirää (Горноголовье), Soikkola (Болотистое место) — были не просто этикетками, а сжатыми рассказами. Они учили видеть, классифицировать и запоминать. Этот урок точности и привязки слова к конкретной реалии позже ляжет в основу его лингвистического метода.*

Жизнь кракольскихвожан была подчинена суровому и прекрасному ритму северного земледельческо-промыслового цикла. Это не было примитивное существование; это была сложная, адаптированная к среде экономика, требовавшая разнообразных навыков. Главным был подсечно-огневой земледелие (*kaski*) — вырубка и выжигание участка леса под пашню. Этот метод диктовал особые отношения со временем и пространством: участок использовался

несколько лет, пока не истощался, затем забрасывался, и семья осваивала новый. Помимо ржи, ячменя и репы, огромное значение имело льноводство: лён давал и ткань для одежды, и масло.

Но одного земледелия было недостаточно. Лес давал не только пашню, но и пушнину, дичь, мёд диких пчёл, строительный материал и дрова. Луга по реке обеспечивали сенокос. Река и Финский залив, до которого было не так далеко, давали рыбу — основу постного стола. Таким образом, водское хозяйство было комплексным, замкнутым на локальные ресурсы. Оно воспитывало в человеке универсальность: отец Дмитрия, Павел Цветков, как и любой крестьянин, должен был быть и земледельцем, и плотником, и охотником, и рыболовом.

Быт был аскетичен, но отточен вековой практикой. Одежда — из домотканого льна и шерсти, украшенная традиционной вышивкой со сложной символикой, охраняющей владельца. Пища — ржаной хлеб, рыба, репа, грибы, ягоды. Ключевым элементом культуры была баня (*saun*), выполнявшая не только гигиеническую, но и ритуально-очистительную функцию, место, где принимались роды и лечились болезни.

Языковая среда, в которой рос маленький Митя Цветков, была сложной и многослойной. Водский язык был языком дома, семьи, внутреннего круга. На нём пели колыбельные, рассказывали сказки (*tuinasjutt*), спорили за столом, отдавали распоряжения по хозяйству. Он был насыщен специфической лексикой, связанной со всеми аспектами традиционной жизни: названиями частей сохи (*ado*), способами вязания сетей, терминами родства, обозначениями оттенков погоды.

Однако этот языковой мир уже не был изолирован. Вторая половина XIX века — время активного проникновения в водские деревни русского языка. Это происходило через несколько каналов:

— Административный и торговый. Все официальные дела — с царским чиновником, приходским священником (православие к тому времени уже давно было принято), скупщиком льна или рыбы — велись на русском.

— Религиозный. Богослужение, исповедь, духовная литература были на церковнославянском и русском. Водский язык оставался вне церковной ограды.

— Военная служба. Отслужившие в армии мужчины приносили в деревню знание русского, а часто и презрение к «мужицкому» наречию.

— Школа. Начальное образование, если деревенский ребёнок получал его, велось исключительно на русском. Школа становилась мощнейшим инструментом языкового сдвига.

Таким образом, к концу века водский язык отступал в сферу неофициального, домашнего, «женского» (поскольку мужчины чаще контактировали с внешним миром). Он становился символом отсталости в глазах части молодёжи, стремившейся в город или на отхожие промыслы. Уже тогда это был язык, на котором говорили, но на котором почти не писали и не думали о будущем.

## Социальная структура и идентичность

Водское общество было глубоко традиционным и иерархичным. Во главе большой семьи стоял старший мужчина. Браки заключались внутри своего круга, часто между соседними водскими деревнями, что укрепляло языковую и культурную общность. Однако сословно вожане были такими же государственными крестьянами, как и их русские и ижорские соседи. Их идентичность была двойственной: в быту они осознавали себя *vaddalaizōd* (водский народ), но в глазах государства были православными российскими подданными.

Традиционная культура держалась на устной традиции. Помимо сказок, это были протяжные, часто *improvisational* песни (*laul*), пословицы и поговорки, заговоры и плачи. Всё это формировало особый тип мышления, метафорический и привязанный к природным циклам. Обряды жизненного цикла — крестины (*ristimizōd*), свадьба (*naizizōd*), похороны (*matuzōd*) — были насыщены архаичными действиями и формулами на водском языке, которые, как считалось, обладали магической силой. Именно эти обряды позже Дмитрий Цветков тщательно опишет в своей этнографической работе, чувствуя, что с уходом старшего поколения исчезнет не просто обычай, а целый пласт миропонимания.

В этой среде семья Павла Цветкова, скорее всего, не была исключением, но, возможно, имела некоторые особенности. Факт, что Дмитрий получил образование в Гатчинской семинарии, указывает на определённые амбиции родителей или на особые способности мальчика. Чтобы отправить сына учиться, нужны были ресурсы и понимание ценности образования. Возможно, Павел Цветков уже видел ограниченность чисто крестьянской судьбы для детей в меняющемся мире.

Домашний мир, в котором рос Дмитрий, был миром, где звучала водская речь во всей её диалектной чистоте кракольского говора. Но это же был и мир, где, наверняка, обсуждали необходимость знать русский язык «для жизни», для карьеры. Эта внутренняя дихотомия — глубокая, эмоциональная связь с языком матери и практическое, интеллектуальное устремление к языку большой культуры — станет центральным конфликтом всей его жизни. Он не просто говорил на двух языках; он существовал в двух культурных парадигмах, и его жизненной миссией станет попытка построить мост между ними, придав языку детства статус языка, достойного грамматики, словаря и письменности.

Детство Цветкова закончилось не в день его отъезда в семинарию, а гораздо раньше — в момент, когда он, обладая чутким слухом будущего лингвиста, начал осознавать, что богатый, образный язык его бабушки, точные термины отца, описывающие лес или сеть, — это не просто «просторечие», а уникальная система, живое наследие, у которого нет защиты от времени. Шум луговой травы, шепот сосен за околицей и скрип льнотрепа говорили с ним на одном наречии. Но из Петербурга, до которого было чуть больше ста вёрст, уже доносился иной, мощный и безразличный гул, грозивший этот шепот навсегда заглушить.

## Краколье: Родина водского лингвиста

Деревня. Краколье — *Jögöperä*, «речной край». Этимология, от которой веет прохладой речной воды и тишиной сосновых берегов. Не нанесённое жирным шрифтом на карту губернии поселение,

а особая вселенная, микроскопический, но самодостаточный мир. Здесь, в Ямбургском уезде Санкт-Петербургской губернии, на самом западе Российской империи, где ветер с Балтики гулял меж камней, а сосны, казалось, помнили времена, когда не было ни Петербурга, ни губерний, в 1890 году родился Дмитрий Павлович Цветков. Чтобы понять этого человека — лингвиста, учителя, солдата, трагического самоучку-учёного — нужно сначала вдохнуть воздух его родины. Нужно увидеть не просто географическую точку, а культурный и языковой ландшафт, который формировал слух, память и душу. Краколье рубежа веков — это не идиллическая пастораль, а сложный, многослойный организм, находившийся на острие исторических перемен. Это был мир, который уже чувствовал дыхание исчезновения.

Границы и перекрёстки:

Географическая и этническая мозаика

Водская земля — позже Ингерманландия и Ленинградская область — никогда не была моноэтничным островком. Это был классический пограничный регион, плавильный котёл, где столетиями пересекались интересы и культуры. На севере и востоке — ижора и вепсы, близкие по языку, но уже иные. На юге и западе — славянские поселения, русские и белорусы. А со стороны Балтийского моря — постоянное культурное и экономическое влияние эстонцев, финнов, шведов, немцев.

Краколье в этой мозаике занимало особое положение. Оно было не просто водским селением, а водско-ижорским. Такое соседство не было случайным: смешанные браки, хозяйственные связи, общие промыслы — всё это стирало жёсткие границы между близкородственными общинами. Языковые различия между водскими и ижорскими говорами были ощутимы для самих носителей, но не настолько непреодолимы, чтобы мешать повседневному общению. Это создавало уникальную лингвистическую среду, где человек с детства осваивал тонкие различия в произношении, лексике, грамматических формах, даже не осознавая, что проходит практический курс сравнительного языкознания.

*Мир ребёнка в Краколье начинался с двух берегов одной реки: на одном говорили чуть мягче, на другом — чуть твёрже, но оба берега были своими.*

Этнограф Пётр Кёппен, чья карта середины XIX века позже будет сопровождать публикации трудов Цветкова, тщательно фиксировал эти хрупкие границы. Он отмечал деревни, где ещё звучала водская речь, понимая, что его картография — это, по сути, документирование уходящей реальности. К концу XIX века карта Кёппена уже становилась историческим источником: давление русскоязычной администрации, школы, церкви, отходничества на заводы Петербурга медленно, но неуклонно меняло этнолингвистический ландшафт. Краколье, однако, держалось, оставаясь одним из последних оплотов водского языка в его наиболее чистой, кракольской форме.

Хозяйство и уклад:

Жизнь, выкованная из земли и леса

Быт кракольских вожан не был архаичным заповедником. Это было жизнеспособное, адаптивное крестьянское сообщество, чья экономика была основана на рыболовстве, земледелии, животноводстве и лесных промыслах. Суровые подзолистые почвы не баловали, заставляя сочетать хлебопашество с другими занятиями. Лён, рожь, овёс, картофель — основа рациона и скромного товарообмена. Скот, особенно молочный, был не только источником пропитания, но и элементом статуса и семейной безопасности.

Но истинным богатством и, одновременно, вызовом был лес. Он давал всё: строительный материал и дрова, грибы и ягоды, пушнину и мёд. Лес диктовал ритм жизни. Осенью и зимой мужчины уходили на лесозаготовки, бондарное дело, изготовление древесного угля. Умение работать с деревом — топором, ножом, скобелем — было такой же неотъемлемой частью мужской идентичности, как и знание языка. Это был мир, где материальная культура и язык были неразрывно связаны. Каждое орудие, каждая деталь строения, каждый этап сельскохозяйственного цикла имели своё точное название на водском. Лексикон Цветкова, который он позже будет кропотливо собирать, — это не просто список слов, это подробная инвентаризация целого мира практических знаний.

При этом Краколье не было отрезано от большого мира. Всего в сотне с лишним вёрст к востоку бурлила столица империи — Санкт-Петербург. Отходничество в город на строительные работы, в прислугу, на фабрики стало обычным делом для молодых мужчин и даже женщин. Это создавало парадоксальную ситуацию: человек мог полгода говорить на водском в родной деревне, а следующие полгода — на ломаном русском в петербургских трущобах. Возвращаясь, он приносил с собой не только деньги, но и новые слова, предметы, а иногда и скептическое отношение к «деревенской» жизни. Эта постоянная циркуляция между традиционным укладом и индустриальным городом создавала внутреннее напряжение, трещину в монолите общинной идентичности.

Языковая ситуация в Краколье времён детства Цветкова была классическим примером диглоссии с элементами многоязычия. Можно выделить несколько функциональных слоёв:

— Водский язык (кракольский говор) — язык дома, семьи, неформального общения, фольклора, всей эмоциональной и интимной сферы. На нём пели колыбельные, ругались, рассказывали сказки, обсуждали дела. Это был язык «сердца и печки».

— Русский язык (региональный вариант) — язык официального общения: с властями, священником, приезжими купцами, на базаре в более крупных сёлах. Это был язык школы (если она была), церковнославянского богослужения (непонятного, но обязательного), армии и закона. Язык «власти и письма».

— Эстонский и/или финский элементы — поступали через культурные и экономические контакты с ближайшими родственными народами, особенно в западных частях водского ареала.

Для ребёнка, такого как маленький Митя Цветков, это не было проблемой или лингвистическим курьёзом. Это была естественная среда. Он слышал водскую речь матери, когда она готовила еду, русскую речь отца, возможно, обсуждавшего дела с соседом-чиновником, ижорские пересуды на улице и церковнославянские песнопения в воскресенье. Его мозг с лёгкостью переключал коды, даже не задумываясь об этом.

Но эта идиллия многоязычия таила в себе угрозу. Престиж языков был неравным. Русский ассоциировался с прогрессом, образованием, карьерой, государством. Водский — с деревенской отсталостью, «неграмотностью», чем-то глубоко приватным и постепенно ненужным. Уже тогда, в 1890-е годы, начинался тихий процесс языкового сдвига: молодые родители, желая «лучшей доли» детям, могли начать чаще говорить с ними по-русски. Водский язык отступал в сферу старшего поколения, постепенно превращаясь из живого инструмента общения в маркер этнической принадлежности и объект ностальгии.

## Семья и община: Кузница идентичности

О семье Цветковых известно не так много, но можно с уверенностью реконструировать её типичный для водской интеллигенции того времени облик. Это была, вероятно, семья, принадлежавшая к местной элите — небогатой, но уважаемой. Отец, Павел Цветков, возможно, занимал какую-то небольшую должность в местном самоуправлении или был грамотным крестьянином-середняком, который понимал ценность образования. Сама фамилия, неводского происхождения, говорит об определённой степени интеграции в российскую социальную систему.

В такой семье двойственность культурного поля ощущалась особенно остро. С одной стороны, необходимость дать детям путевку в жизнь через русскоязычное образование. С другой — нежелание полностью отрывать их от корней, от языка предков, от той самой «водскости», которая составляла негласную основу семейной солидарности и отличия от соседей.

Община же выполняла роль мощнейшего консервирующего механизма. Деревенские сходы, совместные праздники (*нимы*), помощь (*айд*) при строительстве дома или сборе урожая, сложная система родства — всё это скреплялось общим языком. Ритуалы жизненного цикла — рождение, крещение, свадьба, похороны — сопровождались устойчивыми словесными формулами, причитаниями, песнями на водском. Молодой Цветков впитывал этот язык не как абстрактную грамматику, а как живое тело обряда, как звуковое оформление самых значимых моментов человеческой жизни. Неудивительно, что позже, уже будучи студентом, он вернётся к этой теме в своей этнографической статье, стремясь зафиксировать то, что уже начало распадаться.

## Дух времени в водской деревне

Краколье конца XIX века жило в состоянии тревожного равновесия. С одной стороны, внешние признаки говорили о стабильности: свой мир, свой язык, свои обычаи. С другой — более чуткие наблюдатели, каким, без сомнения, был и юный Цветков, улавливали симптомы глубокого кризиса.

— Демографическое давление: Русские и другие славянские поселения вокруг постепенно расширялись.

— Ассимиляция через школу: Церковно-приходские и земские школы, где обучение велось исключительно на русском, становились мощным инструментом языкового сдвига. Грамотность приходила на чужом языке.

— Религиозный фактор: Православие, будучи формально общей религией, служило на практике проводником русской культуры и языка. Священник, часто не знавший водского, был представителем иного культурного кода.

— Экономические изменения: Рыночные отношения, отходничество в город размывали замкнутость общины, вносили новые ценности, где традиционному водскому знанию не было места.

В воздухе витало невысказанное, но осязаемое всеми понимание: мир предков уходит. Язык, который ещё вчера казался вечным и единственно возможным для выражения всей гаммы чувств и мыслей, завтра может стать лишь воспоминанием для горстки стариков. Это чувство исчезающего мира, *предмета изучения ещё до того, как он стал предметом изучения*, будет преследовать Цветкова всю его жизнь. Оно станет тем глубинным двигателем, который заставит сельского учителя взять в руки перо не для того, чтобы сочинять письма или отчеты, а для того, чтобы наспех, без научной подготовки, но с отчаянной тщательностью носителя, начать строить плотину на пути языкового забвения.

Позже, анализируя грамматику и словарь Цветкова, лингвисты будут отмечать как достоинства, так и недостатки его метода: оригинальную, но местами непоследовательную кириллическую орфографию, глубокое знание морфологии, но поверхностное описание синтаксиса. Однако корни этого «метода» лежат здесь, в кракольском детстве. Его лингвистика выросла не из университетских аудиторий (они придут позже), а из этой среды.

Его точная фонетическая запись — это слух, натренированный на улавливании разницы между ижорским и водским произношением. Его классификация падежей, показавшаяся позднее академическим учёным «странной», отражала попытку осмыслить систему родного языка через призму знакомых ему грамматик русского и церковнославянского. Его словарь — это попытка спасти от забвения не просто слова, а целые пласты реальности: названия деталей сохи, видов рыболовных снастей, обрядовых действий, которые уже выходили из обихода.

Краколье дало Цветкову не только материал, но и миссию. Он видел язык не как мёртвый экспонат для витрины музея, а как живой, дышащий организм, который болеет и умирает на его глазах. Его будущий труд 1922 года, озаглавленный скромно «Грамматика водского языка», был задуман им не как диссертация для карьеры, а как акт сопротивления. Он писал в предисловии, надеясь, что труд этот «когда-нибудь окажет хоть небольшую услугу в деле изучения и широкого освещения вопросов о народностях угро-финской группы». Это была надежда сельского интеллигента, который, чувствуя, как уходит почва из-под ног родной культуры, пытался сделать хотя бы её подробную карту — на память тем, кто придёт после.

## Социальная ткань и внешние влияния

Водское общество Краколя не было изолированным островком. Оно было вплетено в более широкую социальную и экономическую ткань Российской империи. Ключевыми каналами внешнего влияния были:

**Церковь.** Православный приход был не только духовным, но и важным социальным институтом. Священник, часто русский или обрусевший, был представителем официальной культуры. Богослужение на церковнославянском, требование знать основные молитвы по-русски — всё это укрепляло позиции русского языка в сакральной сфере, отрывая её от повседневного языкового опыта вожан.

**Школа.** Земская или церковно-приходская школа, куда, вероятно, ходил и Дмитрий, была мощнейшим инструментом русификации. Обучение велось исключительно на русском языке. Водский не только не изучался, но за его использование на уроках могли наказывать. Школа прививала новые знания, но одновременно сообщала ребёнку негласный урок: его родной язык не имеет ценности в мире грамоты и науки.

**Армия.** Военная повинность, через которую прошли многие мужчины-вожане, включая, вероятно, и родственников Цветкова, вырывала человека из родной среды и погружала в полностью русскоязычный коллектив, ускоряя процессы языкового сдвига.

**Отходничество и город.** Близость Санкт-Петербурга была фактором двойственного действия. С одной стороны, она давала возможность заработка (мужчины уходили на строительство, в извоз, на заводы), принося в деревню деньги и новые веяния. С другой — горожанин, вернувшийся после нескольких лет в столице, часто уже стеснялся говорить на водском, считая это признаком деревенской отсталости.

Таким образом, водская община существовала в состоянии постоянного культурного давления. Традиционные устои — общинное землевладение, большие патриархальные семьи, сложный цикл календарных и семейных обрядов — ещё сохранялись, но их основа постепенно размывалась. Язык был самым чутким барометром этих изменений.



## Бытовые детали и мир детства

Чтобы оживить этот исторический контекст, стоит заглянуть в повседневность кракольскогоробенка конца XIX века — такую, какой её мог видеть Дмитрий Цветков.

Его день начинался не по звонку будильника, а по первому крику петуха и стуку поленьев в печи. Завтрак мог состоять из ржаного хлеба, ячменной каши (*puuro*) и молока. Одежда была простой и практичной: домотканая рубаша, штаны, лапти (*virzad*) или сапоги (*sappõg*) в праздник. Игрушками служили деревянные фигурки, вырезанные отцом или старшим братом, самодельный мяч из тряпок, а главным развлечением летом — купание в реке и игры на лугу.

Зимними вечерами, при свете лучины, звучали рассказы и песни (*laulud*). Именно здесь, у печки, от бабушки или матери, ребёнок впервые слышал водские колыбельные, заговоры, сказки о лесных духах (*haltijad*) и подводном хозяине (*vedenisand*). Фольклор был не развлечением, а формой хранения коллективной памяти, этических норм и картины мира. Дмитрий слушал истории о том, как «кто» (*tšän*) сделал ту или иную работу, как «наши» (*mäddä*) ходили на сенокос, как «им» (*näin*) удалось перехитрить медведя.

В этих рассказах язык жил во всей своей полноте — с его специфической фонетикой (теми самыми долгими гласными и согласными, которые он позже будет тщательно фиксировать), богатой системой падежей (не 6, как в русском, а 14—16, как он позже выделит), и своеобразным синтаксисом. Это был язык действия, наблюдения за природой и тонких социальных взаимоотношений внутри общины.

## Тень исчезновения: Демография и идентичность

К 1890-м годам водский народ переживал не просто ассимиляцию, а демографическую катастрофу. По данным переписи 1897 года, вожан насчитывалось чуть более 5 000 человек, и их численность неуклонно сокращалась. Краколье было одним из последних оплотов, где водский язык ещё передавался детям, но и здесь процесс был необратим.

Причины были комплексными: высокая детская смертность, эпидемии, экономическая отсталость региона. Но главное — менялась самоидентификация. В условиях, когда быть «водью» означало быть малограмотным крестьянином на окраине империи, многие, особенно молодые, начинали записываться в официальных документах как «русские» или, реже, «финны». Смешанные браки с русскими и ижорскими соседями становились всё более частыми, и в таких семьях язык-посредник, как правило, был русским.

*Чувство принадлежности к водскому народу (vaddalaizōd) ещё жило, но всё чаще оно носило не этнополитический, а культурно-бытовой характер. Это была идентичность «здесь и сейчас», слабо проецируемая в будущее.*

Таким образом, Дмитрий Цветков рос в среде, которая сама осознавала свою хрупкость и обречённость. Язык, который для него был воздухом детства, для имперской статистики уже был реликтом, пережитком, обречённым на скорое забвение. Эта трагическая двойственность — глубокая внутренняя связь с миром, находящимся на грани исчезновения, — станет, возможно, одним из главных внутренних двигателей его будущей деятельности.

Итак, каким же был итоговый портрет среды, взрастившей Дмитрия Цветкова? Это был мир в напряжении между традицией и модернизацией, между целостностью малой культуры и давлением большой имперской машины. Это был мир, где многоязычие было необходимо, но где одно из языковых начал — родное, материнское — систематически маргинализировалось.

Из этой почвы могли вырасти разные побег. Большинство его сверстников выбрали путь наименьшего сопротивления — полную интеграцию в русскоязычное пространство. Но в Цветкове, благодаря, возможно, особой чуткости слуха, врождённой системности мышления и влиянию учителей в Гатчинской семинарии, это напряжение вылилось в иное качество. Осознание ценности того, что обесценивалось извне, и стремление зафиксировать исчезающий мир не просто в памяти, а в строгих грамматических правилах и словарных статьях.

Он не был кабинетным учёным, волею судьбы открывшим для себя экзотический язык. Он был сыном этого языка и этой земли. Его будущая грамматика 1922 года — это не только лингвистический опус, но и акт культурного самосохранения, попытка доказать, что речь кракольских крестьян — не «испорченное наречие», а сложно организованная система, достойная научного описания. И первой аудиторией для этого доказательства был, вероятно, он сам — мальчик из Краколья, ставший учителем и ощутивший потребность оправдать перед миром логику и красоту языка своего детства.

Санкт-Петербургская губерния на исходе XIX столетия была царством контрастов, где ультрасовременная имперская столица соседствовала с архаичным сельским миром. Всего в нескольких десятках вёрст от роскоши Невского проспекта и грохота заводов существовали общины, жившие в ритме земледельческого календаря, говорившие на языках, чья история уходила в глубину веков. Одной из таких точек на карте было село Краколье Ямбургского уезда — водско-ижорский анклав, где 1890 году в семье Павла Цветкова родился мальчик, которого назвали Дмитрием. Его детство и отрочество проходили на стыке двух миров: замкнутого,

финно-угорского по своей сути, мира вожан и обширного, русскоязычного пространства империи, чьи институты и культура всё сильнее проникали в самую толщу провинциальной жизни.

Будущему лингвисту было суждено стать продуктом этого наложения, человеком, который одинаково глубоко чувствовал и родную *vadda ceeli* (водскую речь), и могучий русский язык, открывавший путь к образованию и социальному росту. Его ранние годы — это история формирования той самой двойной идентичности, которая станет и его силой, и источником внутренних противоречий. Это был процесс, в котором личный талант и семейные обстоятельства переплетались с мощными историческими течениями, готовившими почву для уникальной миссии по сохранению исчезающего голоса своего народа.

### **Гатчинская педагогическая семинария: Формирование профессионального кредо**

Переломным моментом в судьбе юноши стало поступление в Гатчинскую педагогическую семинарию. Этот выбор был стратегическим. Семинарии Российской империи, особенно такие известные, как Гатчинская, были кузницами кадров для системы народного образования, предлагая детям крестьян и мещан реальный шанс получить качественное образование и социальный статус учителя. Для Дмитрия это означало выход за пределы родной этнической и языковой среды в русскоязычное академическое пространство.

Здесь, в стенах одного из лучших педагогических заведений Санкт-Петербургской губернии, крестьянский сын из водской деревни начал превращаться в интеллигента и педагога, не подозревая, что однажды его имя будет ассоциироваться не только с преподаванием, но и со спасением целого языка.

Годы учёбы в Гатчине (ориентировочно 1900-е годы) стали временем интенсивной интеллектуальной и профессиональной закалки. Семинария давала не только предметные знания, но и строгую педагогическую методологию. Будущих учителей учили не просто передавать информацию, а выстраивать учебный процесс, владеть аудиторией, работать с разными способностями учеников. Здесь Цветков усвоил принципы систематизации знания, необходимость чёткого плана и структуры — навыки, которые позже блестяще проявятся в его лингвистических трудах.

Гатчина конца XIX — начала XX века была не просто уездным городком, а особым миром, где переплетались имперский лоск

и педагогические новации. Семинария, готовившая учителей

для начальных школ, была учреждением престижным и требовательным. Попасть сюда для юноши из Краколя означало уже признание его способностей и открывало путь в совершенно иную социальную реальность. Учебная программа была обширной и разносторонней: помимо обязательных богословия

и Закона Божьего, семинаристы изучали русский и церковнославянский языки, арифметику и основы геометрии, всеобщую и русскую историю, географию, естествознание, чистописание, рисование и пение. Особый акцент делался на педагогике и методике преподавания — будущих учителей готовили не просто как носителей знаний, а как мастеров, способных эти знания передать.

Обстановка в семинарии была строгой, почти монастырской. Распорядок дня регламентировался до минуты, большое внимание уделялось дисциплине и «воспитанию характера».

Но для молодого Цветкова, выросшего в патриархальной крестьянской среде, эта строгость была скорее организующим,

а не угнетающим началом. Она приучала к системности, ответственности и самоконтролю — качествам, которые позднее проявятся в его скрупулёзной лингвистической работе. Важно понимать, что образование, полученное в семинарии, было русифицированным и ори-

ентированным на общеимперские стандарты. Водский язык, родной для Дмитрия, здесь не упоминался и не изучался. Но парадоксальным образом именно эта среда, где его этническая идентичность оставалась «за кадром», могла обострить внутреннюю рефлексию. Сталкиваясь с мощным, стандартизированным миром русской культуры и письменности, он невольно начинал сопоставлять его с устным, «домашним» миром своего языка, постепенно осознавая его уникальность и хрупкость.

*Образование не стирало его корни, но давало инструменты для их осмысления. Педагогическая семинария стала для Цветкова не дверью из водского мира, а окном, через которое он впервые взглянул на него со стороны.*

## Наставники и формирование педагогического идеала

Ключевую роль в становлении любого специалиста играют учителя. К сожалению, имена конкретных преподавателей Гатчинской семинарии, повлиявших на Цветкова, не сохранились в биографических источниках. Однако можно с уверенностью реконструировать тип педагога, который там культивировался. Это был образ учителя-просветителя, миссионера грамотности в крестьянской среде, человека, несущего свет знания в «народную темноту». Такой учитель должен был быть не только компетентен, но и нравственно безупречен, служить примером для учеников и их семей.

Именно этот идеал служения, а не просто ремесла, вероятно, и был усвоен Дмитрием. Он совпадал с традиционным уважением к знаниям и учителю в самой водской среде, но поднимал его на новый, осознанный уровень. Важным аспектом семинарского обучения была практическая направленность. Теория подкреплялась методическими упражнениями, разборами уроков, что формировало не абстрактного мыслителя, а практика, готового

к работе в реальной школе. Этот баланс между теоретическим знанием и прикладным умением позднее станет отличительной чертой и его лингвистических трудов: его грамматика —

это не отстранённое академическое исследование, а структурированное практическое описание языка, потенциально полезное для обучения.

Влияние семинарии не ограничивалось классной комнатой. Само пребывание в Гатчине, близкой к столице, знакомство с библиотеками, возможно, первое посещение театра или музея — всё это расширяло культурный горизонт юноши. Он видел, как устроена большая культура, основанная на письменности и систематическом знании. Этот опыт, вероятно, посеял в нём мысль о том, что культура его народа, чтобы выжить, также нуждается в фиксации и систематизации, в переходе из устного бытования в письменное.

Важным аспектом семинарского образования была его ярко выраженная русско-имперская направленность. Курсы истории, литературы, закона Божьего укрепляли в учащихся лояльность государству и православной вере, рассматривали многонациональную империю как единое целое под эгидой русской культуры. Для юноши из водской семьи это было глубокое погружение в идеологический мейнстрим эпохи. С одной стороны, это могло способствовать формированию тех самых «русофильских взглядов», которые позже отметят у него эстонские коллеги. С другой — давало ему мощнейший инструмент: безупречное владение русским литературным языком и понимание культурных кодов имперского общества.

Парадоксальным образом, именно эта профессиональная русификация могла обострить его интерес к собственным корням. Сталкиваясь с классической русской литературой, историей и педагогикой, образованный семинарист не мог не начать проводить внутренние сравнения. Как устроен его родной язык по сравнению

с изучаемой грамматикой церковнославянского и русского? Каково место устных преданий его народа в грандиозной панораме мировой культуры, которую ему открывали? Дистанция, созданная образованием, позволила взглянуть на родную среду не изнутри,

а со стороны, с аналитической точки зрения педагога и потенциального исследователя.

Первая учительская практика:

Карельский опыт у Ладожского озера

После успешного окончания семинарии перед молодым специалистом открылась дорога к самостоятельной работе. Его первым назначением стало **Ууксуское 2-х классное министерское училище** Сердобольского уезда Олонецкой губернии в Карелии, у Ладожского озера.

Этот выбор или направление выглядит значимым. Вместо возвращения в родные, знакомые места, он отправляется в другой, хотя и родственный, финно-угорский регион — Карелию. Это была уже не водская, а карельская и вепсская этнолингвистическая среда.

Работа в отдалённом приходе у крупнейшего озера Европы стала для Цветкова суровой, но бесценной практической школой. Он столкнулся с реалиями сельского учительства во всей их сложности: скромное, если не скудное, материальное обеспечение, необходимость быть не только педагогом, но и часто культуртрегером для местного населения, жизнь в относительной изоляции. Здесь он на собственном опыте постигал, что значит нести свет знаний в народную гущу, работать с детьми, для которых школьный русский язык также не был родным.

#### Педагогика как методология будущего лингвиста

Прямых свидетельств о том, как именно Цветков вёл свои уроки, не сохранилось. Однако можно предположить, что его педагогический стиль формировался под влиянием лучших практик того времени, которые включали:

— Наглядность и доступность: Объяснение сложного через простое, через конкретные примеры из окружающей жизни.

— Систематичность: Построение урока и всего курса как логической последовательности, где новое знание опирается на уже усвоенное.

— Внимание к родной речи учеников: Даже в условиях русификаторской политики, хороший учитель-практик не мог игнорировать языковой багаж детей, на котором строилось понимание нового материала.

Именно эти педагогические принципы — наглядность, систематичность и внимание к исходным данным — позднее лягут в основу его лингвистического метода. Составляя грамматику водского языка, он, по сути, создавал гигантский «урок» для будущих исследователей. Он отбирал наиболее показательные примеры (наглядность), выстраивал описание от звуков к частям речи (систематичность) и в качестве исходных данных брал не абстрактную норму, а живой говор своей родной деревни (внимание к конкретному материалу). Таким образом, его учительский опыт стал неотъемлемой частью его исследовательского подхода. Он не был кабинетным учёным, оторванным от объекта изучения; он был педагогом, стремившимся сделать сложную структуру родного языка понятной и доступной для описания и, потенциально, для изучения.

Этот карельский период, вероятно, выполнил несколько важных функций в его становлении:

— Профессиональная закалка: Он подтвердил свое педагогическое призвание в непростых сельских условиях.

— Сравнительно-лингвистические наблюдения: Находясь среди карелов, чей язык относится к той же угро-финской группе, что и водский, Цветков не мог не отмечать сходства и различия. Это был уникальный шанс услышать родственную, но иную речь, что развивало его лингвистический слух и, возможно, впервые навело на мысль о системных связях между финно-угорскими языками.

— Формирование этнографического взгляда: Живя в чужой, но культурно-близкой среде, он учился быть наблюдателем, замечать детали быта, обрядов, языковых особенностей. Этот навык внимательного, почти научного наблюдения за живой традицией позже станет основой его этнографических записей о водских обычаях.

Работа в Карелии, по сути, стала мостом между его статусом выпускника семинарии и зрелым педагогом, который начал задумываться не только о том, *как* учить, но и *чему* учить в контексте сохранения культурного многообразия и несмотря на свою ценность, была, вероятно, временным этапом. Стремление к дальнейшему образованию и, возможно, неосознанное желание быть ближе к научным центрам, где можно было бы развивать свои интересы, привело его к решению продолжить учёбу. В 1914 году, накануне величайших потрясений, Дмитрий Цветков оставляет учительский пост у Ладожского озера и отправляется в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Петербургский педагогический институт. Казалось, карьера педагога выходила на новый, столичный уровень. Но история готовила ему совершенно иной поворот.

В классе, вероятно, собраны были дети разного возраста и уровня подготовки, что требовало от педагога мастерства индивидуального подхода. Программа министерской школы включала чтение, письмо, арифметику, историю, географию, чистописание и, конечно, Закон Божий. Но помимо официальной программы, учитель был носителем иных культурных кодов: он принёс сюда городские привычки, литературный русский язык, возможно, новые педагогические идеи, которые начали проникать в Россию в начале века. Для детей карельских и финских семей русский язык был часто вторым, а школьное обучение — главным инструментом русификации. Цветков, будучи сам билингвом с детства (водский и русский), на практике сталкивался с проблемами обучения на неродном языке, с трудностями перехода с одной языковой системы на другую. Этот опыт, без сомнения, заставил его задуматься о природе языка, о методах его передачи — вопросы, которые позже лягут в основу его лингвистических трудов.

Важной частью его обязанностей было ведение школьной документации, отчётов для уездного начальства, общение с местными властями и священником. Всё это формировало в нём не только педагога, но и администратора, человека, способного действовать в рамках бюрократической системы. Однако, в отличие от многих коллег, отправленных «в ссылку» по распределению, Цветков находился в родственной языковой и культурной среде. Финно-угорское окружение Карелии, хоть и отличалось от водского, было ему внутренне понятнее, чем чисто русское село в центральной России. Это создавало своеобразный мост между профессиональной деятельностью и личной идентичностью.

#### Педагогические наблюдения и зарождение лингвистического интереса

Именно в Карелии у Цветкова мог впервые из узкопрактического интереса вырасти интерес научный. Ежедневно работая с детьми-билингвами, он не мог не сравнивать строй карельской или финской речи с родным водским. Он слышал знакомые грамматические конструкции, сходную фонетику, лексические параллели. Но при этом видел и различия, обусловленные разной степенью влияния русского языка, разной исторической судьбой.

— Сравнительный анализ на практике: Слыша, как ученик путает падежные окончания или неправильно строит фразу, переводя с карельского на русский, Цветков интуитивно проводил лингвистический анализ.

— Он понимал, что эти ошибки — не просто незнание правил, а следствие интерференции, столкновения двух различных языковых систем.

— Вопрос языковой лояльности: Он наблюдал, как школа, призванная дать образование, одновременно является мощным инструментом ассимиляции. Для карельских детей русский язык открывал дорогу к дальнейшей карьере, но отдалял от языка предков. Эта дилемма была ему глубоко близка как представителю малого народа, сделавшему успешную карьеру в имперской системе.

— Собираение материала: Нет свидетельств, что в карельский период Цветков вёл систематические записи по языку,

— но сама профессиональная среда стимулировала собирательский инстинкт. Учительские тетради, заметки,

—

— примеры детских ошибок — всё это могло стать первым, неосознанным полем для будущей научной систематизации.

Этот период можно рассматривать как время «лингвистической инкубации». Полученные в семинарии теоретические знания о педагогике встречались с живым, сложным и противоречивым многоязычным миром. Цветков видел, как язык существует не в грамматических таблицах, а в устах детей, в бытовых разговорах, в борьбе за выживание в чуждой языковой среде. Это был бесценный опыт, который позже позволит ему в своей грамматике водского языка избежать сухого академизма и написать работу, основанную на интуитивном чувстве живого слова.

### Влияние карельского опыта на мировоззрение

Жизнь в карельской глубинке не могла не повлиять на молодого учителя. Во-первых, это была школа самостоятельности и ответственности. Вдали от родных и привычных ориентиров он целиком зависел от собственных сил и умения выстроить отношения с местным сообществом. Во-вторых, он наглядно видел социальные контрасты империи: относительная просвещённость столичной губернии, откуда он приехал, и суровая, часто бесправная жизнь национальных окраин.

Но, возможно, самым важным стало экзистенциальное переживание «своего среди чужих, чужого среди своих». Для карелов он был русским чиновником, представителем государственной власти и школы. Для русской администрации — грамотным специалистом, но выходцем из малого народа Петербургской губернии. Эта двойственность, внутренний раскол между разными уровнями идентичности, стал лейтмотивом всей его жизни. Карелия обострила это чувство, показав ему зеркало возможной будущей судьбы его родного водского народа: постепенная ассимиляция через школу, миграцию, смешанные браки.

При этом он видел и силу культурной устойчивости. Традиции, фольклор, особенности хозяйственного уклада карелов сохранялись, несмотря на внешнее давление. Это наблюдение могло вселить в него осторожный оптимизм и укрепить веру в то, что систематизация и документирование языка — не археологическое вскрытие мёртвого пласта, а способ поддержать живую, хотя и ослабевающую, традицию.

### Петербургский педагогический институт: Столица и новые горизонты

В 1914 году, имея за плечами несколько лет успешной учительской практики, Дмитрий Цветков делает следующий логичный шаг в карьерном и интеллектуальном росте — поступает в Петербургский педагогический институт. Переезд в столицу империи означал переход на качественно новый уровень. Если Гатчинская семинария давала ремесло учителя начальной школы, то институт готовил кадры для более высоких ступеней образования, его программа была глубже и шире.

Петербург начала 1910-х годов был не только административным, но и мощнейшим научным центром. Здесь работали ведущие лингвисты, историки, филологи. Попадая в эту атмосферу, провинциальный учитель оказывался на переднем крае гуманитарной мысли своего времени. К сожалению, его учёба в институте оказалась недолгой — «лишь пару лет», как



отмечают источники. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война резко изменила жизненные траектории всего поколения.

Однако даже этот короткий период в столице не мог пройти бесследно. Он давал:

— Причастность к академической среде: Даже будучи студентом, он оказывался в пространстве, где язык и культура были не просто бытовой реальностью, а объектом пристального научного изучения.

— Расширение кругозора: Петербург со своими музеями, библиотеками, публичными лекциями был кладезем знаний.

— Осознание масштаба: Жизнь в огромном, космополитичном городе позволяла по-новому оценить место малых культур, таких как водская, в сложной мозаике империи и мира.

Прерванная учёба в Петербурге стала незавершённым проектом, символом возможностей, которые открывала перед ним имперская система образования, и которые вскоре будут сметены историческим катаклизмом.

На пороге взрослой жизни: Суммируя истоки

К моменту начала Первой мировой войны Дмитрий Павлович Цветков был сложившимся, востребованным специалистом с уникальным набором компетенций. Он сочетал в себе:

— Глубокое, естественное знание водского языка и культуры как их носитель, выросший в сердцевине этнической среды.

— Фундаментальную педагогическую подготовку, полученную в лучших учебных заведениях империи, и подтверждённую успешной практикой в поле.

— Безупречное владение русским языком и культурным кодом российской интеллигенции, что делало его полноправным участником общеимперского образовательного пространства.

— Наблюдательность и сравнительный опыт, полученный во время работы в карельской языковой среде.

Он стоял на пороге тридцатилетия, имея все данные для успешной карьеры педагога или чиновника в системе народного просвещения. В его биографии ещё не было ничего, что прямо предвещало бы появление лингвиста-первопроходца. Его труды по грамматике водского языка — дело будущего. Но все необходимые компоненты уже были собраны в одной личности: страсть к знанию, профессиональная дисциплина учителя, ностальгическая память о родном языке и тревожное, ещё не до конца осознанное чувство его хрупкости. Исторические бури, в которые вот-вот будет ввергнута страна, не только ломают казавшийся очевидным жизненный путь, но и заставят эти компоненты вступить в новую, творческую реакцию. Война и революция отнимут у него возможность спокойной карьеры, но взамен, через горнило лишений и борьбы, подарят ту самую экзистенциальную ясность и остроту цели, которые превратят педагога Цветкова в лингвиста Цветкова.

Становление педагога было завершено, но стабильный профессиональный путь, на который он вступил, уже через несколько месяцев будет безвозвратно перечёркнут. Летом 1914 года мир изменился навсегда. Вместо аудиторий Петербургского педагогического института Дмитрия Цветкова ждали окопы Буковинского фронта, а позже — горнило гражданской войны в рядах Ингерманландского полка, где ему предстояло сделать выбор, который навсегда закроет ему дорогу домой.

## Подготовка к следующему шагу: Петербург и война

Карельский период длился несколько лет, примерно до 1914 года. За это время Цветков прошёл полный цикл профессионального становления: от неуверенного выпускника до опытного сельского учителя, справляющегося с хозяйственными, педагогическими и административными задачами. Он подтвердил свою профессиональную состоятельность и, судя по дальнейшим событиям, завоевал положительную репутацию. Это позволило ему задуматься о дальнейшем росте.

В 1914 году он принимает решение продолжить образование — поступает в Петербургский педагогический институт. Это решение логично вытекало из карельского опыта. Столкнувшись с пределом возможностей обычной сельской школы и ощутив потребность в более глубоких, теоретических знаниях (возможно, уже созревающий интерес к языкознанию требовал академической базы), он стремится в столицу. Институт сулил не только повышение квалификации, но и выход в иное интеллектуальное пространство, доступ к библиотекам, общение с учёными.

Однако этому плану не суждено было осуществиться в полной мере. Начавшаяся Первая мировая война резко изменила траекторию жизни целого поколения. Цветкову удалось проучиться в институте лишь пару лет, после чего он был мобилизован в царскую армию и отправлен на фронт, в Буковину. Таким образом, карельское затишье закончилось. Спокойная, хотя и трудная, жизнь учителя в лесной глуши сменилась хаосом мировой войны. Но навыки, полученные в Ууксу — выдержка, умение адаптироваться к чужим условиям, ответственность за вверенных тебе людей (теперь уже не школьников, а солдат) — несомненно, помогли ему выжить в новых, неизмеримо более жутких условиях.

Спустя годы, составляя грамматику водского языка в деревне Венкуля, Дмитрий Цветков будет опираться не только на детские воспоминания, но и на этот богатый педагогический опыт. Его умение объяснять, выстраивать систему из хаоса живого употребления, чувствовать языковые трудности ученика — всё это коренилось в годах, проведённых у Ладожского озера. Карелия не дала ему готовых лингвистических теорий, но подарила нечто более ценное — глубинное понимание того, как язык живёт, борется и угасает в устах последних его носителей. Этот урок стал фундаментом всей его последующей работы.

Учительский подвиг в карельской глуши остался бы частным эпизодом в биографии, если бы не грозовые тучи, уже сгущавшиеся над Европой. Спокойное профессиональное становление Цветкова было прервано событием, которое перевернёт жизнь миллионов. Из тишины карельских лесов и шума школьного класса он будет брошен в огонь мирового конфликта, где ему предстоит сменить указку на винтовку, а классную комнату — на окопы Буковины.

### **В вихре истории: Первая мировая война и Ингерманландский полк**

История иногда врывается в жизнь человека так же внезапно и разрушительно, как шрапнельный залп. Для Дмитрия Цветкова, мирного сельского учителя, воспитанного в духе просвещения и служения знанию, наступил 1914 год. Это был не просто календарный рубеж, а настоящая тектоническая плита истории, которая сдвинулась, перемалывая миллионы судеб. Двадцать четыре года его жизни, прошедшие в стенах семинарий и сельских школ, в заботах о детях и родном языке, вдруг оказались под угрозой полного уничтожения силой, которая была всем ему чуждой — тотальной войной. Но мало кто мог предположить тогда, что это лишь начало долгой трагедии, главный акт которой развернётся не на полях Буковины, а в родных

для него лесах Ингерманландии, где ему предстоит сделать самый мучительный и определяющий выбор всей жизни.

Призыв в неизвестность:

От мирных дорог к Буковинскому фронту

Осень 1914 года застала Дмитрия Цветкова в Петрограде, где он, будучи уже опытным педагогом, продолжил своё образование в Педагогическом институте. Этот период столичной учёбы, который должен был стать естественным продолжением его профессионального роста, был грубо оборван всеобщей мобилизацией. Мирная жизнь рухнула в одночасье. Как и миллионы его сверстников, он получил повестку и был призван в императорскую армию. Его путь лёг далеко от родных водских земель — на юго-западный фронт, в Буковину, в земли, о которых он, вероятно, знал лишь по скупым строкам учебников географии. Этот резкий переход из мира книг, педагогических дискуссий и тихих размышлений о грамматике родного наречия в ад позиционной войны стал шоком, переломившим мировоззрение.

Не сохранилось подробных писем или дневников Цветкова с фронта, но мы можем вообразить контраст. Вместо ясного, богатого гласными водского языка — грохот артиллерии и лаконичные команды на русском. Вместо запаха соснового леса и свежескошенного сена под Кракольем — смрад окопов, пороха и разложения. Вместо спокойного созерцания учеников, впитывающих знания, — постоянное напряжение перед лицом смерти. Этот опыт кардинально изменил его. Из провинциального интеллигента, озабоченного локальными вопросами сохранения языка, он превратился в человека, прошедшего горнило мировой бойни и видевшего, как рушатся империи. Война заставила его задуматься не только о судьбе водского слова, но и о политической судьбе земли, где это слово родилось.

*Он видел, как старый мир умирает в грязи траншей, и, должно быть, начал задаваться вопросом: а какой новый мир рождается на его руинах для его народа?*

На Буковинском фронте Дмитрий Цветков пробыл до революционных событий 1917 года. Падение монархии, хаос разложения армии, «приказ №1» — всё это он пережил непосредственно. Для человека с его образованием и, как позже будут характеризовать, «русофильскими» взглядами, этот коллапс был не просто политическим событием, а глубокой личной катастрофой, крушением той государственной и культурной модели, частью которой он себя осознавал. В этом хаосе он принял решение, определившее всю его дальнейшую судьбу: он не просто демобилизовался, а присоединился к силам, стремившимся защитить свою малую родину от новой, ещё более страшной угрозы.

Ингерманландский полк:

Борьба за родину, которой не стало

После октября 1917 года пространство бывшей империи превратилось в лоскутное одеяло из враждующих государственных образований и фронтов. На северо-западе, на землях, где жили ингерманландские финны, ижора и водь, развернулась своя трагедия. Здесь возникло движение за автономию или даже независимость Ингерманландии. Его вооружённой силой стал Ингерманландский батальон, развёрнутый позднее в полк, сформированный в 1919 году из местных жителей, не желавших принимать власть большевиков.

Цветков, вернувшийся с фронта мировой войны, сделал осознанный и мужественный выбор. Он не уехал в глубь России и не попытался затаиться в родной деревне. Он вступил в Ингерманландский полк. Его мотивы были, без сомнения, сложными и многогранными. Это

была не только антибольшевистская позиция — для него, педагога и носителя культуры, большевизм с его воинствующим интернационализмом и отрицанием «буржуазного национализма» представлял прямую угрозу самому существованию водской идентичности. Это была защита своего мира: лесов, деревень, языка, образа жизни, который начали методично уничтожать. Он сражался не за абстрактные идеи, а за конкретное право говорить на водском языке и воспитывать в этом языке своих будущих учеников.

Боевой путь полка был коротким и трагичным. Сформированный в Эстонии, он воевал на нарвском и ямбургском направлениях. Бои были ожесточёнными, но силы оказались неравными. К началу 1920 года красные войска окончательно подавили организованное сопротивление в регионе. Поражение Ингерманландского полка имело для Дмитрия Цветкова роковые последствия, выходящие далеко за рамки военной неудачи.

## Политическая анафема: Цена выбора

Самым страшным итогом участия в этой гражданской войне для Цветкова стал невоенный, а политический приговор. Он навсегда потерял возможность вернуться в родное Краколье. Для советской власти он был не просто «бывшим», а активным врагом, «белоингерманландцем». Возвращение в родную деревню, находившуюся теперь в пределах РСФСР, грозило немедленным арестом и высшей мерой. Таким образом, его осознанный выбор в 1919 году привёл к персональному изгнанию. Родина, за которую он брался за оружие, физически осталась за колючей проволокой новой границы.

Этот разрыв стал глубочайшей травмой, определившей его последующую жизнь и, возможно, отчасти предопределившей её трагический конец. Он оказался отрезанным не только от семьи (о судьбе его близких в этот период известно мало), но и от самой языковой среды, которую он стремился изучать и сохранять. Лингвист, взявшийся документировать свой родной диалект, был вынужден делать это в отрыве от его живых носителей, из эмиграции. Эта парадоксальная и мучительная ситуация наложила неизгладимый отпечаток на все его дальнейшие труды.

*Его грамматика и словарь создавались не в спокойной кабинетной тиши учёного, а в тревожной тишине изгнания, с постоянной оглядкой на закрытую границу и с болью невозвратимой потери.*

Это изгнание также жёстко обозначило его политическую позицию для новых властей Эстонии, где он нашёл прибежище.

С одной стороны, его статус борца с большевизмом давал определённые моральные дивиденды. С другой — он навсегда оставался человеком с «неудобным» прошлым, вынужденным постоянно оглядываться и, возможно, оправдываться. Это создавало внутреннее напряжение, которое будет сопровождать его все 1920-е годы.

На переломе эпох: Водская община в годы испытаний

Чтобы понять масштаб личной трагедии Цветкова, необходимо взглянуть на судьбу всего водского народа в этот период. Годы Первой мировой и Гражданской войн стали для вожан, как и для многих малых народов, временем катастрофических потрясений. Деревни Ингерманландии, включая Краколье, находились вблизи линии фронтов, по ним прокатывались волны мобилизаций, реквизиций, эпидемий. Традиционный уклад, и без того расшатанный процессами модернизации и ассимиляции, рушился с пугающей скоростью.

Война ускорила все демографические и социальные процессы. Молодые мужчины, носители языка и знаний, гибли или возвращались искалеченными, физически и морально. Экономика пришла в упадок. А после установления советской власти начались новые испытания: политика «красного террора» против «контрреволюционных элементов», к которым легко могли причислить любого, связанного с национальным движением, а затем и раскулачивание. Водская деревня беднела и пустела. Язык, бытовой и семейный, терял свои позиции под давлением русского как языка новой власти, школы и пропаганды.

Выбор Цветкова вступить в Ингерманландский полк был отчаянной попыткой остановить этот каток истории, защитить хрупкий мир своей культуры. Его поражение было поражением всей этой надежды. Оказавшись в Эстонии, он наблюдал за гибелью родного мира из-за границы, будучи бессильным что-либо изменить. Это чувство, смешанное с личной виной выжившего, стало, вероятно, одним из ключевых мотивов его последующей титанической

работы по фиксации языка: если нельзя спасти народ, надо хотя бы спасти его слово, увековечить его для истории.

#### Из солдата в летописца: Формирование миссии

Период с 1914 по 1920 год превратил Дмитрия Цветкова из перспективного сельского учителя в трагическую фигуру изгнанника и, одновременно, в человека с железной целеустремлённостью. Пережитый опыт тотального насилия

и потери родины кардинально изменил масштаб его мышления. Если до войн его интерес к родному языку мог носить скорее краеведческий или педагогический характер, то после — он обрёл характер миссии, почти священного долга.

Осознав, что живые носители языка и сама культурная среда обречены на быстрое исчезновение (подозрения, которые вскоре превратятся в уверенность), он поставил перед собой задачу тотальной документации. Его будущие труды — грамматика, словарь, этнографические заметки — это не академические упражнения, а акт интеллектуального сопротивления забвению. Это «капсула времени», создаваемая в условиях, когда само время работало против его создателя.

Именно в горниле войн сформировался тот уникальный статус Цветкова, который делает его наследие бесценным. Он был не сторонним исследователем, приехавшим в экспедицию, а носителем культуры, который, пройдя через её агонию, с холодной ясностью и болью взялся за её патологоанатомическое описание. Его военный опыт привил ему дисциплину, методичность и ту настоятельность, с которой он будет работать в 1920-е годы, будто чувствуя, что времени отпущено мало.

#### Наследие огненных лет:

##### Последствия для научной судьбы

Последствия военного периода тяжёлым грузом легли на всю последующую академическую и личную жизнь Цветкова в Эстонии. Его «неблагонадёжное» прошлое стало причиной многих трудностей. Когда известный лингвист Лаури Кеттунен ходатайствовал о выделении ему стипендии для работы над словарём водского языка, именно «русофильские взгляды» и, несомненно, связь с Ингерманландским полком, стали камнем преткновения. Власти молодой Эстонской Республики с подозрением относились к человеку с такой биографией.

Это создавало порочный круг: чтобы полноценно работать над спасением языка, ему нужны были ресурсы и доступ к архивам, но его прошлое ограничивало эти возможности. Возможно, именно эта отчаянная ситуация, невозможность реализовать свой главный проект в полной мере, подтолкнула его к решению изучать в Тартуском университете не финно-угорскую, а славянскую филологию. Это был вынужденный, прагматичный шаг, попытка найти более надёжную академическую нишу в новых реалиях, но и своеобразное бегство от самого себя, от своей миссии, которая оказалась политически ангажированной.

Годы, проведённые в окопах и в боях за потерянную родину, научили его скрытности и осторожности. В его письмах и работах мы почти не найдём прямых отсылок к этим событиям. Боль вытеснена вглубь, превращена в топливо для кропотливой, внешне абсолютно аполитичной научной работы. Но эта боль — фундамент, на котором стоит всё его наследие. Его грамматика кракольского говора — это не только лингвистический памятник, но и памятник миру, который он пытался защитить с оружием в руках и который, проиграв войну, решил спасти пером.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.